Н. МИКАВА

МОКОША



Союз советских писателей Абхазии

8218

Н. МИКАВА

МОКОНА

(РАССКАЗЫ)

Перевод автора с грузинского

БИБЛИОТЕКА
АБХАЗСКОГО ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

СУХУМИ АБГИЗ 1938

Участь янтаря

Жара. Только быстрый бег автобусов поднимал легкий ветерок, который сдувал с подола Фаризы приставшую в неподметенной комнате пыль.

Был выходной день.

Люди в разноцветных одеждах наполняли широкую улицу. У всех были оживленные лица. Глубоким желанием жизни дышало все вокруг.

Молодежь спешила на пляж. Самолеты гудели в воздухе.

Жизнь—точно большое, великое торжество.

И это—усугубляло плохое настроение Фаризы.

„Нет! как все-таки изменилась жизнь! Где то спокойствие, вера, уважение к старшим? Хм! Как странно кончается все! А когда-то жизнь сулила тихое счастье".

С такими мыслями продолжала она свой путь. И вот вся ее юность промелькнула перед глазами.

I.

Вспомнила тихий осенний вечер. Закоулки полные пожелтевшими листьями. Усталая жизнь стремилась отдохнуть в пацхах, гнездах, норах.

А Фариза прощалась в слезах со своим селом. Издали доносился скрип несмазанной арбы.

Лучи заходящего солнца красной каймой легли на западе.

Чу! Из ближайшей оды *) доносятся звуки чонгури. Сколько раз в маленкой пацхе, перед большим очагом слышала она сладкие звуки шелковых струн (а дым очага жестоко разъедал глаза).

И опять эти звуки. Каждый чему-то радовался, каждый к чему-то стремился!

— Счастливой дороги!—послышалось из кузницы. И этими искренними словами закончилась ее юность.

Сколько кувшинов воды разлилось с того дня.

И почему только сегодня почуствовала она прелесть тех солнечных дней, которые с ненавистью скрывала в течение всей жизни?

Какую силу и радость чувствовала тогда!

Почему вспомнила с такой ненавистью село, юность? Как она могла переменить тихие мегрельские вечера на пыльные улицы большого города?

Тихая жизнь, герань на окошке, запах ладана по субботам и веселые вечера иногда...

Нет! Жизнь была прелестна!

Она вспомнила последние дни и опечалилась.

Два года тому назад встретилась с ним. Фариза тогда имела собственную булочную.

Он был высокий, худощавый, поджарый, как борзая собака. Внешне он напоминал великого ламанчского испанца.

У него были длинные, гладкие усы, которые каждый вечер завязывал тряпками.

Высокая папаха, коричневая, кашмировая блузка, галифе из зеленого сукна, желтые высокие сапоги, всегда прищуренные хитрые глаза—таков был представитель „голубой крови“ (как он говорил) дворянин Джвебе. С ним встретилась

*) Ода—деревянный дом, по-мегрельски.

Фариза в конце осени. По ее мнению, каждая мелочь говорила о его аристократизме, хотя бы кусок бархата, который носил Джвебе в кармане и на каждом шагу вытирал сапоги.

Хотя он жестокой изменой ответил на ее любовь, но... Но все-таки Фариза не может не закрывать глаз от сладкого чуства, когда вспоминает его. Ведь сказано: поздно проснувшаяся любовь в гробу заснет.

Да! Осенью была эта встреча, но майский огонек зажгла в ее сердце.

Фариза сразу почувствовала пробуждение той острой боли, которая называется последней любовью.

Но Джвебе поставил перед ней требование: пока Фариза не продаст свой маленький домик, он не согласиться с ней жить.

Ведь представитель голубой крови не мог жить в этой каморке! Что могло подумать общество?

И Фариза была вынуждена продать за четыре тысячи рублей свой маленький домик, который, как ревматик, стоял около большой дороги.

А сколько бессонных ночей провела она на его постройке.

Но Фариза все это скоро забыла, увлеченная сладостью медовых месяцев.

Джвебе нигде не работал. Подходящей работы не было пока. А там обещали свои люди большое место „подрачика“, с возобновлением строительства Черноморки. С большим окладом.

Так он успокаивал обещаниями свою возлюбленную. Увлеченная любовью Фариза не замечала смены дней и ночей.

А Джвебе беспечно перебирал янтарные четки, подаренные Фаризой в память их любви.

II.

Собравшаяся на прогулку Фариза, сидя у окошка, ждала Джвебе и думала: „Деньги кончаются. Работ по Черноморской железной дороге—не начинают".

После того, как напротив ее лавки открыли большой, светлый гастрономический магазин—в ее булочную никто не заходил. Она была вынуждена закрыть ее.

А Джвебе ничего не думает о будущем. Даже не желает разговаривать на эту тему. После того, как он узнал, что деньги подходят к концу—совсем изменился, не ласкает Фаризу, как прежде, часто опаздывает.

Хотя, что ему делать—страдает от недостатка денег: он же привык к хорошей жизни! Так успокаивала себя Фариза.

Напрасно ждала. Джвебе не возвращался.

Сомнение грызло ее. Не находила покоя. Давно мечтала о прогулке вместе с Джвебе. Думала, что сегодня осуществится эта мечта. Но что-то у него заболел живот. Он на минутку вышел выпить водки и почему-то опаздывает.

Вечер. С прогулки возвращаются соседи.

Фариза, не хотевшая сомневаться в любви Джвебе, подумала—не случилась ли какая-нибудь беда. И этого было достаточно. Она вышла в неизвестном направлении. По дороге от знакомого узнала, что Джвебе давным-давно сидит на набережной.

Фариза смутилась. Не ожидала. Из хаоса мыслей не могла вывести заключение. Двинулась к набережной.

Прелесть июньского вечера неуловимо сливалась с тихим говором волн. Легкий бриз качал кипарисы, пальмы.

Фариза направилась к знакомому месту—туда, где любил сидеть Джвебе.

У входа на пристань, по обеим сторонам стоят голубые скамейки.

Здесь любили сидеть недовольные новой жизью бывшие люди.

Это место было живым списком лишенцев. Здесь, как затравленные звери, перешептывались они о политике, о потерянном благополучии и перебирали, как будто соревнуясь между собой, четки.

Здесь любил, закинув ногу на ногу, проводить свои часы и Джвебе, перебирая подаренный Фаризой янтарь.

Три дня тому назад Джвебе втретился здесь с одной своей старой знакомой, с которой провел когда-то много приятных вечеров. Оставшись, как и он за бортом жизни, теперь она устроилась официанткой.

Хотя былой красоты не осталось и следа, но у нее были деньги. И этого было достаточно, чтобы в сердце Джвебе разгорелось прежнее чувство.

Поэтому он, изображая пламенного Ромео, ковром расстилал перед ней свое дворянское достоинство.

... И в этот вечер они сидели, как голуби с потрепанными жизнью крыльями.

Вдруг перед ними предстала Фариза.

— Ах, ты, проститутка! Вредная!—закричала Фариза и плюнула сопернице в лицо.

Это случилось в одно мгновение, но весть о происшествии сразу облетела всю набережную. Люди спрашивали, смеялись, а потом продолжали гулять.

Джвебе воспользовался суматохой и исчез, как лисица после воровства курицы. Фариза еле

дотащилась домой. Ругалась. Проклинала все на свете.

Потом—взглянула в зеркало и смутилась: так скоро, так незаметно подкралась старость!

Упала на кровать и, заплакала как капризный ребенок.

В час ночи незаметно открылись двери. Джвебе посмотрел на сердитое лицо Фаризы и начал приводить в порядок открытки.

Вытер пыль со старого кривого зеркала. Потом передвинул стул—как будто первый раз видел эти вещи, лишенные заботливой руки.

Джвебе знает народную пословицу: услужливый дурак опаснее врага.

Кто знает, как поступит обозленная Фариза? А Джвебе не хотел пока выпустить из рук так легко доставшееся добро, поэтому он так старался.

— Эх!.. Бедный...

Фариза молчала.

— Ах, какой человек погиб, какой человек!

Она опять молчала.

— Что у нас сегодня на ужин?

Эти слова, наконец, разожгли сердце Фаризы.

— Я тебе такой ужин дам, чтобы ты до гробовой доски не забыл. Бессовестный лжец! С кем это ты сидел? Что ты пел этой проститутке?

Джвебе свободно вздохнул. Он тонко изучил Фаризу. Эти слова обещали ему благополучный конец. Он нашел опору.

— Моя бедная Фариза, как тебе не стыдно! Что ты говоришь, выслушай меня.

— Замолчи, бессовестный.—И Фариза заплакала. Джвебе улыбнулся в усы. Этого он и хотел. И начал стонать, как отравленная крыса.

— Какой я несчастный! В каком я огне! Ты ведь прекрасно знаешь, что мы живем в Абха-

зии. Знаешь, в каком обществе я вращаюсь. Что они скажут, увидев меня с тобой? Ведь это невозможно по нашему обычаю: мы ведь недавно поженились.

— Да, но кто она, все-таки, была? Ты так ласков с ней!

Джвебе опять усмехнулся в усы.

— Ужель не стыдно тебе за ревность, моя Фариза? Это—жена одного приятеля. Он устраивает меня на строительстве железной дороги. А ты все испортила и еще ворчишь.

— Молчи! Бедная моя голова. Как овладела тобой любовь!

Фариза вздохнула и пошла к кровати.

А Джвебе улыбался—дело наполовину было выиграно.

. . . . . .

Часы пробили четыре. Фаризе не спится. Ее мучат мысли: „Да, Джвебе прав. Какой у нас странный, все-таки, обычай. Новобрачные не могут вместе показаться! Ну, что ж! Джвебе красивый мужчина. Женщинам он нравится. Мужчина всегда старается обмануть женщину, всегда так было и будет. Женщина должна держать себя стойко. Нет, как извивалась эта проклятая обезьяна! Фу!“

Вдруг ей послышался тихий стон Джвебе. Но этого было еще недостаточно, чтобы смягчить полное злобы сердце Фаризы.

Стон повторился.

Тут уже беспокойство овладело Фаризой.

— Джвебе... Джвебе...

Но стоны продолжались. Сейчас уже любовь поборола оскорбленное самолюбие.

— Не убивай меня... Что с тобой случилось, не скажешь?

Джвебе приоткрыл глаза и вздохнул.

— Что с тобой? Приснилось что-нибудь?

Джвебе начал слезливым голосом:

— Нет, я не достоин тебя, дорогая.

— Скажи, что такое? Не убивай меня!

— Что такое? Я сам не знаю. Видел страшный сон...

— Я стоял у большого обрыва. Было темно. Не находил дороги. А на другом берегу высокая гора с мраморными ступеньками соединялась с лучами солнца. И эти лучи освещали двоих, подымающихся по лестнице. Я не мог выдержать взора одного из них. Он был весь в сиянии. И он вел тебя наверх. Вдруг он обернулся ко мне и закричал: „Эту женщину ты должен охранять! А то видишь, как глубок обрыв". Я задрожал от страха. Поднял голову, но его уже не было там. А ты не хотела смотреть на меня. Впереди была бездна, и я заплакал. Вот и все...

— Какой удивительный сон.

Джвебе застонал.

— Хорошо, успокойся... О ком ты это говорил, что умер?

Джвебе призадумался, как будто не мог вспомнить.

— Да! Жена нашего Бондго, Пуцу—умерла. Что делать? Приятель! Сколько раз вместе принимали хлеб, соль. Но на мое лихое счастье ни у кого сегодня не мог достать денег... Не поехать—позор!

Фариза очень любила похороны. Но намек на деньги не совсем понравился ей, хотя Джвебе любила больше денег.

— Что ж — поедем... Но потом останемся без денег.

Джвебе не дал ей закончить.

— Да, правда. Сегодня говорил с Платоном. Через месяц начнется строительство Черноморки... Мы ведь поедем на авто, а то стыдно—что скажут.

— Хорошо, мой дорогой. Лишь бы ты был здоров, об остальном разве стоит думать?

Свет опять погас. Джвебе повернулся на бок, улыбнулся в усы и предался глубокому сну.

III.

Похороны—это праздник для людей, подобных Фаризе и Джвебе.

Джвебе еще утром нанял в артели „Мотор" дряхлое авто. Такой же старый венок купил на кладбище и с приятелями, с Фаризой направился на похороны.

Фариза старательно скрывала крашеное и напудренное лицо лионским шарфом от пыли. После часовой тряски авто остановился близ дома Бондго.

Сюда собрались и другие родственники покойницы. Распускали волосы, причесывались. Каждый родственнник в своей группе имел известную плакальщицу. Их брали, чтобы украсить плач и усладить слух гостей.

Их слушали, как лучших песенников, хотя плакальщицы, в большинстве случаев, не знакомы были с покойниками.

Джвебе вынул кусок бархата, удалил пыль с ботинок, с одежды. Поправил папаху, положил в платок кусок лука и стал торопить других.

Как только в доме Бондго заметили приближающихся, усилили крик и плач.

Родственники группами, каждый около своего венка и свечи, двинулись по направлению к дому.

Им навстречу вышли двое стариков в черных черкесках. Они вели по очереди плакальщиков. Покойная лежала под большим навесом, перед одой. Около покойной сидела родня. Перед навесом стоял пустой стол. Плакальщики складывали на нем головные уборы и, обходя три раза вокруг стола, шли оплакивать покойную.

После обхода стола Джвебе вынул платок с луком и так заорал, как будто потерял лучшего друга.

А иногда наблюдал присутствующих из-под платка. Фариза вторила ему своим звонким голосом. Она слыла за лучшую плакальщицу. Так импровизировала, что присутствующие собрались вокруг, чтобы выслушать ее.

После оплакивания, Джвебе направился к другому навесу, где готовили хлеб-соль для гостей. Посредине навеса, на большом огне, висел огромный котел с мамалыгой. Двое молодых парней с засученными рукавами еле-еле мешали ее.

Тут же стояли большие корыта, наполненные лобией с орехами, соленой капустой, макаронами. Джвебе все осмотрел внимательно, попробовал вино, покачал головой.

— Что это такое? Не могли достать белого?

— Белое сейчас черпают.

— Молодцы, молодцы!—И с наслаждением покрутил усы.

Перед похоронами—гостей пригласили угощаться. Когда все сели, Джвебе поднял тост.

Первый бокал был выпит за упокой умершей. Потом начали с жадностью есть.

Родня, которая только что убивалась от горя, кушала с большим аппетитом.

Молодые, с засученными рукавами, не успевая вынимать ложкой лобию, стали доставать ее тарелками, а иногда и прямо руками.

Джебе поднял тост за всех умерших в течение сорока лет.

Гости немного подвыпили, и сам Джвебе покраснел от вина.

И когда уже не за кого было поднимать тост—Джвебе опять вернулся к покойной и поднял бокал за ее загробную жизнь.

— Патонепи! *).

Воцарилась тишина, так как все уже были сыты.

— Патонепи! Этот... безвременный тост... я поднимаю за нашу покойную,—потом вздохнул и продолжил:

— Она ушла в лучшую жизнь... Здесь страдала от больших трудов... А там... там ей нечего больше будет делать, кроме еды и гулянья. Поэтому я пью за ее здоровье. И каждому из нас желаю такого счастья...

Гости переглянулись возмущенными глазами, но ничего не сказали из уважения к тамаде и хлеб-соли.

Только один молодой, исполнившись злобой, не вытерпел:

— Мы сюда собрались из уважения к покойной, а не для того, чтобы устраивать пьянку. Время прекратить эту бессмысленную болтовню и приняться за дело.

Это замечание все приняли к сведению и поднялись из-за стола.

— Кто смеет вставать без моего разрешения? Кто этот невежа?

И Джвебе наполненный вином бокал бросил в лицо бунтарю.

И здесь случилось то, что долго не могли забыть жители села Абжаква. Все перемешалось.

---

*) Патонепи—господа.

Летели тарелки, люди кричали, выли, удерживали дерущихся, умоляли, угрожали.

Все забыли покойную. А большая породистая свинья, воспользовавшись случаем, преспокойно начала доедать оставшуюся мамалыгу и лобию.

В этой суматохе ясно раздавались угрозы Джвебе:

— А-айт, как смеет мне возражать этот „комсомолист“. Пустите, я ему покажу, пустите!

Может быть, молодой человек и не был комсомольцем, но Джвебе каждого молодого, который так или иначе шел против него, называл „комсомолистом“.

Это было его ругательное слово. Конечно, во время пьянства.

После долгой возни их развели. И прах покойной предали земле. Только Джвебе спал до утра непробудным сном.

IV.

Время не кончалось, а деньги давно кончились. Строительство Черноморки все не возобновлялось, и Джвебе сидел без дела.

Супруги целыми днями кричали: „шаш-беш, ду-беш“ *).

Фариза с трудом находила средства на жизнь.

Когда уже пришлось совсем туго—пустилась на выдумки.

В один дождливый вечер супруги сидели вокруг стола, припоминали всех знакомых, родных и составили недельный план, в какой день—к кому пойти обедать. Эта выдумка, конечно, принадлежала находчивому Джвебе.

Нехватило одного дня.

---

*) Счет при игре в нарды.

Долго думали оба—но никого подходящего среди родственников и знакомых не находили. И тогда, отчаявшись, они решили этот день голодать.

Но вруг Фаризу осенила новая мысль. Она решила примириться с сыном, с которым давно была в ссоре, чтобы таким образом заполнить „проклятый“ день—понедельник.

С наступлением новой недели супруги начали по-новому жить.

Сперва Фариза приходила в назначенное место за два часа до обеда, беседовала с хозяевами, играла с детьми, разсказывала о виденном, выдумывала небылицы, и в это время совершенно „случайно“, или под предлогом поисков жены, заходил Джвебе.

Обед уже был готов.

Здесь в хозяевах пробуждалась сила восточного гостеприимства и они просили супругов остаться на обед. Последние, чтобы не „огорчить“ хозяев, оставались.

Настал понедельник. Фариза ненавидела этот день, но все же это был день и не могла же она положить его в карман Джебе!

Предлог был найден: новорожденный внук Фаризы. В четыре часа они были на месте. Фариза поплакала, обняла невестку, попросила прощенья, начала ласкать маленького внука.

Джвебе рассматривал картины и, придя в нетерпение от запаха жареной курицы, нервно перебирал четки.

В половине пятого Фариза в слезах обняла вошедшего сына, который довольно холодно принял гостей.

От обеда он отказался под предлогом головной боли, что совершенно не помешало Джвебе с большим аппетитом приняться за еду.

После обеда сын позвал к себе в комнату мать. Фариза чрезмерно ласкала сына, чтобы как-нибудь завоевать его потерянное сердце. Но сын холодно остановил ее.

— Ласки излишни. Я давно убедился в силе твоей искренности.

Фариза смутилась.

— Знай, что пребывание твоего мужа должно быть первым и последним в моей семье. Я не желаю ничего общего иметь с ним.

Фариза не ожидала. От злобы долго не могла ничего сказать.

— Ах ты, безбожник! Ты так уважаешь свою мать. Хорошо!

И она сразу ушла от сына, думая:

„В проклятый день пришли к проклятому сыну, разве из этого вышло бы что-нибудь хорошее?“

Супруги скоро забыли этот случай и продолжали жить по календарному плану. Понедельник, все-таки, остался сиротой.

Джвебе старался приобрести влиятельного, знатного знакомого.

Когда они сидели у какого-нибудь родственника за обедом и входил незнакомый посетитель, Джвебе тайно старался узнать: большой ли человек вошедший, партийный ли он?—и сразу менял тон разговора, лицемерил, находил далекое, никогда не бывшее родство с ним. Вспоминал его отца, своего дорогого друга (которого никогда не знал) и был готов пожертвовать всем своим существом для сына такого большого приятеля.

Но ему редко удавалось поймать кого-нибудь в свою заплесневевшую сеть. И горевал Джвебе. Сейчас уже родственники начали принимать их довольно холодно: поняли хитрость супругов.

Не просили, как раньше, оставаться обедать. Раз у одного родственника дожидались обеда, пока мамалыга совсем не сгорела в котле. Но хозяйка не собиралась снимать котла до ухода неприглашенных гостей.

В некоторых семьях и двери начали закрываться, через детей передавали, что никого нет дома. А сами скрывались за занавеской, наблюдая за уходом незванных гостей.

... И супруги были вынуждены забыть так удачно составленный календарь.

Джвебе успел вскружить голову официантке.

И сейчас ждал случая, чтобы расстаться с Фаризой.

V.

Фариза пять лет тому назад взяла на воспитание одну свою беспризорную крестницу Маро.

Она безжалостно заставляла девочку работать. А потом, когда очень стала нуждаться, через своих знакомых устроила девочку на табачную фабрику и, таким образом, двояко использовала свою крестницу. И деньги отнимала и попрежнему заставляла работать.

Но прошли годы, и Маро совершенно изменилась: научилась грамоте, начала посещать комсомольские собрания, стала наблюдать за собой, дома работала меньше, денег уже мало отдавала Фаризе, даже папиросы и то не носила... Жалела государство: так она отвечала на просьбу Фаризы—снабжать ее папиросами.

— Конечно, она стала „комсомолистом“. И разве из этого что-нибудь путное получится? Я виновата—дала волю ей,—так себя утешала Фариза, когда видела, что ни угрозы, ни наставления не действуют на упрямую крестницу, и

БИБЛИОТЕКА
АБХАЗСКОГО ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

еще боялась, чтобы она не потребовала от нее расчета.

Однажды вечером Маро вернулась поздно и прямо подсела к ужину, за которым сидел Джвебе. До сих пор она ела всегда отдельно.

Джвебе возмутился и перестал ужинать. Фариза толкала ногой крестницу, которая все замечала, но, несмотря на это, не хотела вставать, кушая ужин, приобретенный на ее деньги.

Джвебе рассердился, встал и вышел, так что Фариза не успела даже ничего сказать. И когда она выбежала босиком догнать обиженного мужа—его уже не было, как будто проглотила темная ночь.

Два дня не показывался Джвебе, а на третий прислал записку:

„Больше не желаю с тобой жить. Достаточно унизил себя, живя с тобой и с твоей Маро. Пришли мою кавказскую блузу, а то выругаю публично".

Фариза пришла в неистовство, даже не могла закончить чтение записки. Била по голове руками и кричала, как бешеная.

— Ах сволочь, мерзавец!

Вдруг лакированный, черный „Бьюик" остановился у ее ворот. Из авто вышел молодой шофер—грек и прямо направился в комнату Фаризы.

Удивление заставило забыть горе. Двери открылись и перед Фаризой появилась с маленьким чемоданчиком Маро. Тут был и шофер, здоровый, загорелый, с белыми блестящими зубами.

— Фариза, я ухожу...—начала Маро.

— Куда?!

— В мою семью, к моему мужу.

— Да, мы вчера расписались,—стыдливо добавил шофер.

Пауза.

— Как, не спросив меня, ты вышла замуж?! Миро *), воспитание, все забыла!

— Я не видела, какое из себя миро,—смело начала Маро.—А что касается того, что ты меня выкупала в холодной воде, хотя я этого не просила, но все-таки благодарю. А воспитание... Да, я помню твои побои, голод, унижение. Ну, разве стоит об этом сейчас вспоминать. Я нашла себе дорогу и рада этому. А это—мой муж. Не похож на Джвебе? Ах, как я рада, что он не похож на него! Прощай.

И молодожены, как ветер, понеслись на „Бьюике" к центру города.

Не находя места, Фариза срочно направилась к Джвебе. Она еще утром узнала, что он живет с официанткой.

Джвебе сидел в допотопном кресле и перебирал четки.

Жена отсутствовала.

На Джвебе не произвел впечатления приход Фаризы. Он, как будто, ждал ее.

— Ах, изменник, мерзавец! Так—это твоя служба, которую ты обещал?

— „Не садится перепелка на дерево—не позволяет ей род". Наш род не привык к службе. Удовольствие совместной жизни со мной и то много для тебя. А ты хотела, чтобы я еще работал на тебя. О, женщина, взгляни в зеркало,—с деланным смехом добавил Джвебе.

— Замолчи, замолчи, грязный оборванец. Ты хвастаешься купленным от Ашордия дворянством *). Ах, ты бессовестный!—И с силой вы-

*) Миро—состав, которым смазывали ребенка при крещении в православной церкви.

*) Мегрельский князь Ашордия продавал звание дворянства.

рвала янтарные четки из рук когда-то дорогого человека.

— А этого я тебе не дам. Потому я и пришла.

Так окончилась история последней любви Фаризы.

*

Воспоминание исчезло. Фариза подняла голову и увидела, что незаметно дошла до когда-то ею проданного дома. Но как она была удивлена, когда заметила, чта дома нет на своем месте.

Болото высушили. На этом месте раскинулся сад и шло большое строительство.

Лежали доски, кирпичи, черепицы, возились рабочие. Грузовики, наполненные цементом, сменяли друг друга. Дорога была гудронирована. Берег моря одет гранитом.

Фариза с ненавистью плюнула в сторону стройки и повернула назад.

Строительство на Черноморской железной дороге давно началось. Скоро ожидали первый гудок паровоза на реке Келасури.

— А интересно, где сейчас Джвебе?

1935 г.

Мокона

(Очерк)

I

Сатанджио

Сатанджио.

Старинная крепость на берегу реки Ингур.

Танджва — мучение. Сатанджио — место мучений.

Возраст крепости — сотни лет.

Она воздвигнута на высокой, зеленой горе.

Страшно поднимать завесу истори Сатанджио!

Земля этой горы орошена человеческой кровью. Стоны мучеников, стоны ужаса и боли как бы соединились в одно целое с ее ветхими, заплесневевшими стенами.

В ненастную погоду, в темную ночь, когда ветер протянет умирающим шакальим воем, в долине говорят:

— „Сатанджио плачет, Сатанджио!“

Даже могучему Ингуру не смыть все потрясающие бесстыдства, совершенные в Сатанджио.

На другом берегу, на такой же горе воздвигнута такая же крепость, а между ними река — символ вечного движения.

Бесчисленное количество лет текла река, и люди, как мухи, тысячами погибали в ней. Че-

рез горные уступы несла она охладевшие трупы синему морю, как горькую сказку человеческого гнета.

Борьба происходила за кусок земли.

Жадные владетельные князья, желавшие во что бы то ни стало обогащения, посылали людей в бой на жизнь и смерть, друг против друга. Эти — тоже находили в глубине мутной воды отнятое в жизни спокойствие. Им не давали права носить имя человека. Рабы — вот их название. Ведь они не должны были чувствовать боль, не должны были чувствовать радость. Это была игра, зрелище для двух разгульных князей, — такое же развлечение, как борьба гладиаторов на цирковой арене древнего Рима, как бой быков в Севилье.

А сегодня — жизнь в Тагилонской долине, как река Ингур — течет неустанно, изменяется и течет.

Это все расскажет вам стопятилетний старик Зураб Шария. Его мягкая борода, как белоснежные шелковые нити. В коричневой черкеске, черных высоких сапогах, в откинутом назад башлыке — он горд и опрятен. Глаза ясные, голубые. Слегка румяное, белое лицо. Будто сама мудрость воплощена в нем.

Он руководитель хора тагилонских-стариков колхозников. Их всего десять. Самому младшему из них, Джого Марша, около шестидесяти лет — он гордится своим партбилетом.

В 1935 году Зураб Шария преподнес замечательный подарок Абхазскому комсомолу в день его 15-летия, — он со своим хором выступил на торжественном вечере.

Так он дожил до изумительного дня своей жизни, так он дожил до второй молодости.

Да, сердце Зураба тоже было когда-то „сатанджио", но теперь в нем торжество.

II

В доме знатного бригадира — колхозника Келемата — большая суета.

Люди, как муравьи, бегают взад и вперед. Заканчивают приготовление большой, длинной шефы*) на сотни человек. Уже установили столы, роздали тарелки, стаканы, вымыли рога. Украсили цветами край стола.

У входа в шефу, в громадном котле булькают круги мамалыги и два молодца с засученными рукавами еле-еле управляются с ней. Здесь же, с обеих сторон на вертелах жарятся поросята, покрытые как бы жирным красновато-желтым лаком. На кухне беспокойно суетятся женщины. Одна выпудрилась в муке, другая вымазалась в саже, третья покрывает железной доской большой, специальный камень с хачапури **) и сверху посыпает его горячей золой, четвертая давит из крупных размолотых орехов ярко-золотистое масло, пятая готовит красный перец и соль — аджику.

В огороде, за кухней, из зарытого глубоко в землю огромного кувшина черпают красное, как горячая кровь, вино.

Комнату в новом доме тщательно убирают пять юных красавиц и при этом весело шушукаются. Они собрали в ближних домах все открытки, картинки, вышивки и украшают ими стены.

*) Шефа — навес, под которым угощают гостей.
**) Хачапури — сладкий хлеб с сыром.

Уже отправились за невестой десять молодцов — „макари“ **) и одна девушка — „даде“ ***).

Они долго сдерживали своих лошадей и, наконец, поскакали. Молодые джигиты были в черных черкесках. Издали мощным эхом доносился их крик.

Кругом — оживленные, веселые лица.

Сегодня в доме лучшего колхозника Келемата большое торжество — свадьба. Его единственный сын, подобный молодому тополю, — Шалико — женится.

Имя девушки — Мокона.

Корини — желание.

Мокона — желаем.

В полночь запоют „кучхабединеру“ ***) и Мокона под перекрещенными лезвиями кинжалов переступит порог своего дома.

Мокона!.. Ее кристальный смех и глаза, как море, так же желанны для семьи колхозника Келемата, как новый день, как чайный куст, как колхозный труд, как воздух и вода.

Она будет продолжать новый род Келемата.

У Келемата недавно была еще одна свадьба — выдал замуж свою единственную дочь. Он с большим удовольствием перечисляет подарки, данные им своей дочери: пять тысяч рублей деньгами, корову, лошадь с замечательным дамским седлом, мебель, шифоньер, целых пять постелей, и еще... и еще свою теплую, нежную любовь отца.

Привезли невесту. Раздались выстрелы. У ворот Мокону встретили родители жениха и дали

**) „Макари“ — группа молодых, которых специально посылают, чтобы привезти невесту.

***) Даде — первая подруга невесты в доме жениха.

****) Кучхабединера — свадебная песня.

ой стакан вина и орех с медом — гозинаки — здоровье и сладость.

Но каково было удивление гостей, когда невесту и жениха посадили вместе во главе стола! Первый раз был нарушен в Тагилони древний обычай, согласно которому молодожены в течение многих месяцев не должны показываться вместе перед старшими. И, когда десятки удивленных глаз устремились на хозяина, этот неграмотный, простой старик ответил:

— Нам надо только хорошее от старого, кому нужна червивая лошадь!..

Когда человек бесконечно счастлив, ему невольно приходят в память самые горестные минуты, пережитые им в жизни.

Три воспоминания не дают покоя Келемату. И вот ему, купающемуся в море радости, вспомнилось прошлое.

Большая черная от дыма пацха. Смерть отца. Крик, плач и причитания. Осиротевшие братья и сестры: между ними он был старше всех — ему было восемнадцать лет. Он своим трудом должен был содержать всю семью. И начались годы скитания в Тамыш, Гали. Он работал у чужих, кротко переносил тяжелый труд — унижения, оскорбления и в конце месяца, получив пятнадцать рублей, спешил домой, чтобы утолить жажду и голод сирот.

Раньше воровство считалось мужеством, в особенности кража коня. Крали большею частью для князей.

Воровство погубило семью его отца, у которого чуть ли не ежегодно пропадал скот. После каждой кражи отец Келемата ходил к князьям Акиртава и Ачба, усыновлял их, осыпал по-

дарками, и на это уходила большая часть возвращаемого ему князьями краденого добра.

У Келемата была лошадь. Ах, какая замечательная лошадь! Он не может вспомнить о ней без боли. И вдруг лошади не стало: ясно, украли.

Ему советовали оставить это дело, но он никого не слушал и упорно искал ее семь месяцев... и нашел.

Как ни странно, но без всякой помощи князей он ее нашел на берегу реки Бзыбь. Дело не обошлось, конечно, без суда и суд выманил у него стоимость трех лошадей, вернув одну эту.

Но всего тяжелее было воспоминание о том дне, когда братьев забрали на войну. Если бы это не был день то он назывался бы слезой.

„Мир — это Гали, Тамыш, а дальше... дальше начиналась тьма: вьюги, метель, пурга, русский царь, который своими жадными щупальцами раздирал сердца крестьян... А еще дальше — война, страшная, уничтожающая война. Люди убивали друг друга, лили кровь, исполняли - чьи то смертные приказания!

Забывали все названия, кроме одного — боль.

Забывали все слова, кроме одного — кровь.

Забывали все желания, кроме одного — смерть!..“

... Так думала Агати — мать Келемата — и плакала, плакала день и ночь, — и по ее морщинистому лицу ручьями текли холодные, замерзающие слезы...

Келемат очнулся от свистка паровоза, — который пролетел мимо его дома.

— Как хорошо, что все это не повторится никогда!

А он долго не хотел записаться в колхоз, долго упрямился — не верил ни во что, — это прошлая жизнь научила его неверию. „Эх, что

будет — будет“, решил он наконец, и стал колхозником.

А сегодня ему стыдно, стыдно вспоминать свое неверие! Колхоз дал ему все: счастье, радость, богатство, новый дом, сад с лучшим сортом винограда. А подарки для дочери? А сегодняшняя свадьба?

— Да, сегодня крестьянин вышел из тьмы...

Келемат вошел в шефу и поднял бокал:

— Это за того, кто жизнь бедняка сумел сделать такой хорошей, теплой...

Все встали.

— Он от нас далеко, там снег сейчас, говорят, но он видит нас, наши нужды, — продолжал Келемат. — Всегда, каждый раз первый тост мы должны поднять за его здоровье!

— Если за старшего брата не поднимешь первый бокал, то за кого еще?

1936 г.

Арзаабе

(Эскиз)

Лена взяла газету и взглянула на портрет.

Арзаабе сидел у рояля и смеялся. Казалось, вот-вот заведет он разговор с Леной: так выразительно, так живо на портрете его лицо.

Отложила в сторону газету.

Закрыла глаза и вспомнила минуты, часы прежних встреч.

Потом взяла письмо Арзаабе и снова начала читать его.

. . . . . .

„ Я так счастлив, что не могу не поделиться. этим счастьем с тобой, мой друг, — писал Арзаабе. — Я достиг цели!

Лена!

Если б были сейчас вместе, я закружился бы как веретено. Как тогда — помнишь — на берегу моря?

Я получил первую премию на конкурсе пианистов. Нет! — Не так интересовала меня премия, как то чувство, когда в освещенном блестящем зале, перед тысячами слушателей я исполнил венгерскую рапсодию Листа так, как я этого хотел.

Эта минута незабываема. И даже тогда я не поверил в победу, когда в газете увидел свой портрет.

Так прекрасная сказка становится сегодня былью.

Сейчас — ночь. Но я не могу заснуть.

Как глубоко желаю радости жизни!

Да, я счастлив сегодня!

Выхожу. Иду.

Слушаю биение артерий социалистического города. Тысячи голосов сливаются в моем воображении в одну грандиозную симфонию.

Игра реклам. Молнии прожекторов. Гул автобусов.

Жизнь, жизнь — вечно движущаяся, неумолкающая, большая, безграничная... Недосягаемая, неизмеримая, удивительная, новая жизнь!

Вот памятник Пушкину. Кто-то принес ему цветы. Пушкин — печален. Наверно, потому, что жил в девятнадцатом столетии, темном и грустном.

Сижу и наблюдаю за прохожими. Хочу кричать, рассказать всем о моей радости.

Они — эти молодые, новые люди — разделят мою радость. Они не могут не понять меня.

Прошла пара. Опять пара. Опять. И так — без конца. Как хорошо, если бы ты была здесь, возле меня, тогда радость была бы еще большей.

Но мы, ведь, скоро увидимся. Не правда ли?

... Я вспомнил детство...

I.

Улыбкой солнца началось то утро.

Обрызганная дрожащей росой трава соперничала в красоте с заснувшими волнами моря. В листьях орехового дерева шуршал легковейный ветерок.

Наш двор был похож на приготовленное в приданое невесте зеленое шелковое одеяло.

И когда солнце рассыпало свои первые лучи, из нашей пацхи, с криком и плачем, вышли соседки.

— Осиротели дети, осиротели! — голосили они и царапали лицо...

Я ничего не понимал. Только испугался этих женщин. Отец стоял в стороне унылый, сгорбившийся от горя. И слезы ручьями текли по лицу.

Настроение отца передалось мне. И я заплакал, хотя не знал почему. Потом, постепенно, забыл о слезах и заглянул в пацху.

Женщины суетились вокруг постели матери. Я увидел, что моя мать лежит без движения и молчит. Меня испугало ее молчание.

Народ наполнял наш двор. Усиливались крик и шум.

Шесть дней и ночей крик и плач не прекращались в нашей семье.

А на седьмой день еще больше засуетились все. Детей одели в новые, черные одежды. И мы радовались этому. Только я — старший из братьев — сомневался: мать перед праздником всегда одевала нас в красное, а сейчас все были одеты в черное, даже отец. И он не веселился, как раньше. И даже, словно, не замечал нас.

Унылый, проходил он мимо, и мы боялись заговорить с ним.

Полдень.

Все новые и новые арбы въезжали в наши ворота. И перед каждым появлением новой арбы, как бы забытый, крик возобновлялся.

Вечерело.

Мы, дети, играли около подворотни. Вдруг крики необычайно усилились. Из пацхи стали выходить родственники. Их плач заглушал все

вокруг. Все вышли на большую дорогу, и наш двор опустел...

Заглянул в пацху. Мать уже не лежала на постели, и я испугался.

Я догадался, что случилось что-то ужасное, непоправимое.

И только позже осознал смысл случившегося.

Вечером отец вернулся. Молчал...

Пришла потом новая весна, и мы позабыли об утрате.

По утрам отец оставлял горячий чурек, аджику, и сам спешил на работу.

А мы, дети, пасли соседское стадо. Разрушали птичьи гнезда, ловили птенцов, строили на ручейках водяные мельницы, воровали фрукты.

Так проходило детство.

Но я страдал одним маленьким „недугом“ — очень любил музыку.

И когда где-нибудь звучала апхярца, — с утра до вечера голодный я мог слушать ее.

Очень любил также причитания плакальщиков „ауау“. Редкой красоты этот плач! По приезде обязательно запишу его.

Больше всего на меня действовали проклятия и жалобы отца.

Он проклинал свою участь, бедность. Я не понимал причины этих жалоб, а сердцу было больно.

У постели матери висел на стене, почерневший от дыма, портрет русского царя и его семьи.

Мы, дети, очень любили эту картину. Дивились красоте и одеждам царя и его жены, а больше всего — его детям.

И когда смотрели на портрет, всегда молчали от восторга.

Однажды вечером отец вернулся очень злой.

Схватил нашу любимую картину и разорвал ее.

Нас обуяло горе и удивление. Не могли представить, как можно уничтожить такой красивый рисунок.

Со страхом собирали мы разбросанные клочья...

Скоро отец, преследуемый полицейскими за публичное оскорбление старшины, бежал в лес. Бежал от гнета, насилия — он кинжалом начал искать правду.

И мы, дети, остались на попечении тетки — вдовы

II.

В один субботний вечер тетка предупредила, чтобы я готовился к от'езду в город.

Я так обрадовался, что глубоко зарылся в одеяло и всю ночь не мог закрыть глаза.

Тетка решила оставить меня слугой в городском доме отставного генерала Любарского.

Нет, я не сержусь на нее. Она жила очень бедно, и, может быть, отдавая меня Любарским, надеялась, что эта семья поможет мне выйти в люди.

Старику Любарскому надоело жить в большом городе и он, с женой и сыном-паралитиком, переселился на юг, к нам.

Его белый, прекрасный трехэтажный особняк, окруженный садом с ценными деревьями, стоял на возвышенном берегу, около моря.

Лето. Дом Любарского полон гостей. Их все очаровывало в нашем городке: кипарисы, пальмы хамеропсы, море. С любопытством они разглядывали и меня.

Я удивлялся их безделью: утро они проводили на море, день — в гамаках, вечер — в этом замечательном саду.

С нетерпением я ожидал всегда вечера — в это время сверху доносились удивительные звуки музыки, и я, спрятавшись за дверью, мог слушать их до рассвета.

Мой слух прывык к этим звукам. Многое из того, что играли, я запомнил наизусть и, когда кто-нибудь фальшивил в игре, — я нервничал.

Часто я слышал от гостей слово „большевик", они это слово выговаривали с гневом и ненавистью.

Время шло. Я редко встречался с теткой, с братьями. И мое детство, как сон, исчезало из памяти.

Время шло. Труд с каждым днем становился для меня все более невыносимым. Но вечером, сверху, как вестники весны — ласточки — реяли звуки, и тогда я все забывал. В один грустный осенний вечер, когда пожелтевшие листья осыпались, как невозвращенная радость, — к нашим воротам подъехали три фаэтона. Гости сели в них и уехали к пристани.

Больше они не возвращались.

Только позже я узнал, что эти гости — беженцы из России, и заграничный пароход увез их в Стамбул.

Еще тяжелее стал мой труд.

На моих хозяев очень подействовал отъезд гостей: наверное, боялись, что большевики придут в наш город. Ненависть к большевикам старались внедрить и в нас. Я часто слышал печальные вздохи поварихи:

— Эх, погибла Рассея!..

Зима. Выпал первый снег и скрылся в волнах моря.

Отяжелевшие от снега ветви деревьев согнулись к земле.

Особняк Любарского выглядел на белом фоне еще привлекательнее. Временами дул ветер, и лакированные листья магнолий стряхивали с себя снежинки. На улице дети катались на санках.

Отправляясь с ведрами за водой, я иногда останавливался и с завистью смотрел на ребят, пока ругань нашей поварихи не подгоняла меня.

Радость приходила только ночью. Луна освещала море, природа становилась тогда более таинственной, более прекрасной.

Я чувствовал эту красоту. Я понимал величие природы. Наблюдая море, луну, горы, звезды, я жаждал уяснить себе — что скрывалось в них!

Так я привык к мышлению.

В один зимний вечер, когда я вычерчивал пальцем узоры на запотевших стеклах окна, кто-то открыл двери моего подвала.

Это был Лео — сын Любарского.

— Арзаабе, поднимись со мною в мою комнату.

На третьем этаже мы вошли в маленькую, наполненную книгами комнату. Неграмотный, я, однако, любил книги в красивых переплетах, любил разглядывать иллюстрации.

Много было в комнате Лео таких книг. Если бы можно было, я бы до рассвета перелистывал их.

На белом камине злобно улыбался бронзовый Мефистофель, — копия с работы Антокольского.

В углу стояло маленькое пианино.

— Арзаабе, с сегодняшнего дня ты будешь ходить ко мне. Я начну обучать тебя грамоте, — приказал Лео. — Садись!

Но я не смел сесть.

Лео открыл пианино и погладил белые клавиши своими желтыми, иссохшими пальцами.

Мое удивление возрастало. И сам я как будто обессилел.

Прекрасно играл Лео.

Первые звуки напоминали шум леса весной. Звуки постепенно усиливались, переходили в плач.

Как будто два противоположных мира боролись друг с другом. И в этой борьбе погибали люди.

Мне так понравилась музыка, что не заметил, как подошел ко мне Лео.

— Нравится?

Я молчал.

— Что, плачешь?

Он пожал плечами, подсел к столу и начал писать.

После узнал я, что он вел дневник. Вот что было написано в тот день:

„Утро... Счастье?.. Счастливы, вот, повариха, Арзаабе, они, как животные, днем служат нам, едят, а ночью спят.

Они счастливы своим тупым непониманием. Как я ненавижу все и всех! Из-за разврата моего отца я родился таким больным, обреченным ожидающим сумасшествия.

Сегодня я перечитывал „Привидения“ Ибсена. Да, — солнца! Я хочу солнца! Только солнце недостает мне, — солнца, которого я никогда не увижу. Тоска. Безжалостно мучает меня тоска. Что придумать, чтобы укрыться от этого одиночества? Чем заняться?“

„Вечер... Играл четырнадцатую сонату Бетховена. Арзаабе слушал и плакал. Удивительно! И на этого дикого мальчика подействовала гениальность Бетховена. Ничего не понимаю. Тут что-то другое. Может быть, живя в нашей семье, он привык к музыке?

Да! Собаки тоже привыкают к музыке и воют, когда слышат ее".

Все это я прочел спустя три года в его дневнике.

Лео перестал писать, посмотрел на меня с еле заметным презрением.

— Сними мне ботинки и иди спать.

III.

Время таяло, как снег в оттепель.

Дыхание весны, крадучись, повеяло из зарослей папоротника. Море посинело и засеребрилось под солнцем.

Трудно узнать смену времен года в Абхазии — стране вечного лета и весны.

Печаль заползла в семью Любарских. Ждали большевиков. Охали.

Жизнь изменилась.

Одетая в желтые бушлаты меньшевистская гвардия бродила везде. Разоряла села, разоряла революционно настроенных.

Крестьянство дрожало от страха. Народ волновался.

Только один Лео хладнокровно смотрел на происходящее.

Однажды, солнечным утром, начались необычные перешептывания. Слышались слова: большевики... красные.

Жители города засуетились.

„Чорохи" и „Таврида" *), переполненные пассажирами, отошли от пристани.

Пустел город. Новые вести шли из Гагр. Запахом войны пропитывался воздух. Невидимые

*) „Чорохи" и „Таврида"—маленькие пароходики грузинских меньшевиков.

слухи посыпались везде и всюду, оставляли капли яда.

Завечерело. Волнение возрастало. Красные приближались к городу.

Меньшевики бежали.

Грохот пушек потряс город.

Те, которые заботились об обогащении, воспользовались моментом, как всегда во время войны, и радовались доставшейся добыче.

Пустел город. Пешком, на лошадях, в фаэтонах, в лодках бежали жители. Мать оставляла детей, дети — отца, муж — жену. Старики, вздыхая, распространяли библейскую ложь, — толковали о втором пришествии, о судном дне.

Ночь. Темноту иногда прорезывают лучи прожекторов.

Работают воры. Купцы прячут золото.

Растерянно бежит нагруженная награбленной добычей „народная гвардия".

Суетятся и в семье Любарского. Они приготовились к бегству, но старик Любарский лежит тяжело больной, и это смущает всех. Невозможно его везти в таком состоянии. А город скоро будет занят красными. А орудийный грохот все усиливается.

„Что делать?" — этот вопрос терзает каждого. Знают, что старик вот-вот умрет. Но смерть медлит. А жизнь спешит — желание жить, с каждой минутой, с каждым выстрелом возрастает.

Лео беспокойно ходит по коридору: то он войдет в свою комнату — играет вальс Шопена, то он опять возвращается к отцу: „Ну, как, еще жив?"

Вдруг Лео остановился — несколько минут стоял так, окаменевший, устремив застывший взор на портрет Наполеона.

Поднял голову—видно было, принял решение. Подошел к маленькому столику. Взял в руки порошок.

— Что ты хочешь сделать, Лео? — тревожно спросила Любарская.

— Я хочу успокоить больного...

— Но это ведь большая доза, он может умереть!...

— Одним часом меньше...

— Да, но... все-таки... это... убийство...

Лео не слушал матери, даже не обратил внимания на ее застывшее от ужаса, мертвенно бледное лицо. Он подошел к постели и дал больному лекарство...

Не кончалась ночь.

Стрельба. Молнии прожекторов. Гул пулеметов.

Генерал Любарский умирал.

— Почему темно, Лео? Света, я хочу света!..— повторял он.

Закутанная в тучи, вышла луна. Заблестело море.

Высохшая голова старика свисла с подушки, и в комнате одною жизнью стало меньше.

Кто-то плакал, кто-то раздраженно ходил по комнате, — и все долго молчали.

Долетевшая с улицы пуля попала в Мефистофеля. Куски статуэтки разлетелись по полу.

И вслед за этим последовало чье-то робкое слово:

— Умер!..

Молчание продолжалось. Лео испытующе разглядывал каждого из нас и, тяжело вздохнув, сказал:

— Нет, мы не сможем похоронить его... А все-таки, придется большевикам хоронить его превосходительство.

Через два часа пароход „Мария“ увез с собой, в Стамбул, семью Любарских.

В доме остались я и повариха.

Тысячи мыслей проносились в моей голове: то мертвый Любарский, то ужасы гражданской войны...

С этими мыслями я и заснул.

Рано утром большевики вошли в город.

По моему удивлению не было границ: они никого не убивали, никого не трогали, ничего не жгли...

Сомкнувшись в ряды, с веселой песней шли красноармейцы.

Один даже приветливо махнул мне рукой!..

* * *

Здесь ставлю точку. Ты меня прости, не надоел ли я тебе своим письмом? Оно вышло довольно длинное, но я так хотел рассказать тебе о моем тяжелом детстве, батрачестве, унижениях... О том, какие бывают люди, о гибели врагов...

Колючая была дорога моей юности!.. Но я смело, с поднятой головой шел по ней, ибо ясно видел свою цель, верил, знал, что достаточно сильно захотеть и можно достигнуть желаемого!

Это были замечательные дни бурь и гроз!

Когда-нибудь я расскажу тебе о них... когда-нибудь и напишу большую симфонию, где языком музыки передам о том, как боролся комсомол, выковывая каждого из нас в этой борьбе... об убийстве врагами замечательного парня, секретаря нашей ячейки — Егише Катуняна... о его безграничной любви к жизни и пламенной вере в будущее... о том, как мы с замиранием сердца знакомились с произведениями Ленина, о наших

увлечениях стихами Маяковского. Расскажу, как простой, неграмотный, бедный рыбак — Осман стал потом профессором... И еще... еще расскажу — ты знаешь о чем? Ну-ка, догадайся? О том, как в моей жизни одним солнечным днем стало больше — это был день встречи с тобой, мой друг!

А теперь у меня одна мечта, которую я осуществлю летом. Брат пишет, что в нашем колхозном клубе приобрели пианино. Когда я приеду — в лунную ночь я соберу стариков, которые только в сказках мечтали о замечательной жизни, о радости, соберу молодежь, вынесу на двор, под старое ореховое дерево, пианино и заиграю... Я расскажу им о великом Бетховене, о стремлениях Вагнера, о необычайной любви Тристана и Изольды, о страданиях Шопена, о величии бурь и скал — Грига.

Они поймут, обязательно поймут величественный и простой язык музыки...

Я в это верю!..

Приближается рассвет. Бледнеет луна. Звезды скидывают темное покрывало — ночь...

1934 г.

Метехи

(Этюд)

Это было в 1934 году в музее, в бывшей Метехской тюрьме. Мы рассматривали новую партию экспонатов, когда в дверь постучались. В кабинет вошла женщина средних лет с приятным, но немножко суровым лицом.

— Товарищи, я принесла один, не лишенный для вас интереса, экспонат, — обратилась она к нам.

— Простите, кто вы будете?

— Меня зовут Ольга Донаури, я из ленинского райкома партии. Мой муж сидел в этой тюрьме. Вот его последние тюремные записки.

Скорее всего это были наброски на клочках бумаги. Но тем не менее мы очень заинтересовались и жадно накинулись на них.

Привожу записки полностью:

I.

„В глазах следователя прочел я сегодня свой приговор. Значит, несколько дней всего осталось жить! А, может быть, еще меньше... Но потом? Смешно! Нет, не могу поверить, неправда! Кто остановит биение моего сердца, обращение крови в моих жилах?

... И все это может случиться в один лишь миг, в одну секунду!

— Что тебя радует, несчастный? — с легкой иронией спрашивает следователь. Я с презрением посмотрел на его тупое, глупое лицо одушевленного идола.

— Герои!.. — уже с торжественной иронией обращается он ко мне.

А знает ли он, что в моей смерти больше торжества, чем в его жизни? Сегодня он со мной был мягок, вежлив. Я чувствую, почему он вдруг так резко изменился.

— Скажи все... и ты свободен.

Подлая душа! За эти слова я придушил бы мерзавца!..

Но это разве делу поможет? Не этому учили меня. Выдать товарищей, выдать общее дело! Гм! Как они плохо знают большевиков. Никто никогда не сорвет с моих уст лишних слов — тайна моего дела умрет со мной. Они будут мучить меня, пытать. Пусть будет опять бесчеловечно больно, мои кости вдруг захрустят, мои глаза, не знавшие слез, может быть ощутят их.

Но я забуду все на свете! Я выдумаю сказку о себе — и, воплотившись в эту воображаемую сказку, забуду о своем существовании.

... Вот! Уже выдумал эту сказку: я сошел с ума и меня привели в этот сумасшедший дом. Меня будут бить, мучить, пытать, чтобы привести в себя, — но разве сумашедшие приходят в себя?

Напрасно думают эти звери, что напугают меня. Кто, как я ясно видит свою цель, тот не знает боязни.

— Ну, я вас жду, назовите имена. Хорошенько подумайте: свобода...

— Никогда! — с презрением ответил я. Дальше ничего не помню.

II.

Очнулся в карцере. Почему так много соли во рту, откуда? Ах, да ведь это кровь! Она текла с носа, глаз, головы — по всему лицу.

Как здесь сыро! Просыпаются боли. Глаза, рот, руки, ноги, — как будто все чужое.

Чу! Шорох, что-то ползет ко мне, будто шепчут вокруг, что-то холодное прикоснулось к руке. Крысы! Как противно! Пришли насытиться моей кровью.

А, впрочем, не мне привыкать к карцеру. О, как больно, как невыносимо больно! Надо думать о другом, обо всем, только не о боли.

... Я хотел бы видеть людей, которые строили эту тюрьму. Несчастные! Они ведь и не подозревали, как будут мучить здесь их братьев, их детей.

... Шаги.

Но, увы! Они удаляются, не ко мне,—значит. Как долго тянутся минуты.

III.

Снова я в своей камере. Сквозь мою решетку виден кусочек голубого неба. Какое оно сегодня ярко-голубое! Подхожу к окну, поднимаюсь на стуле — вот она, жизнь, люди, а внизу Кура, быстрая и могучая.

Чу! Одна из железных решеток дрогнула в моих пальцах. Я еще раз потряс ее; маленькое усилие... и я вытащу решетку и в один момент могу очутиться в холодных волнах реки. Такая гибель, пожалуй, будет лучше, чем с минуты на минуту дожидаться конца от рук палачей.

На мосту проходит женщина с ребенком; у нее опущена голова, видно—тяжелое горе грызет

бедную! Как медленно, тяжело шагает. А знает ли она, что я жду здесь смерти лишь для того, чтобы она шла смело, с поднятой головой!

— Сестра... Сестра...

Хочу протянуть ей руки, хочу расцеловать ее ребенка.

— Не кричать!... У окна стоять запрещено.

Ах, опять часовой.

Что я хотел?... Утонуть в Куре, покончить с собой, уснуть сейчас, чтобы проснуться в веках...

Нет! Этого я не сделаю никогда. Какая трусость! Покончить с собой может всякий, — а вот жить, это — великое искусство. Собственной жизнью нужно доказать победу.

IV.

Почему-то вспомнилось одно утро из моего детства. Это было прекрасное сентябрьское утро.

... Умирала моя мать — хорошая, любящая мать. От тяжкого труда, — она была прачкой, — не по годам состарилась несчастная.

Бедная мать! Она умирала, как миллионы подобных ей. А утро только рождалось, призывало все к жизни, и я чувствовал, видел, как матери хотелось жить. Надо было немедленно позвать врача и я, задыхаясь, спотыкаясь, добежал до большого белого дома. В этом доме жил один известный врач. Не помню, звонил ли я, но парадные двери открылись. У порога стоял сам врач.

— Умирает... помогите... здесь недалеко!

Я не мог говорить, слезы душили меня. Доктор несколько секунд равнодушно смотрел на меня и потом с таким же равнодушием спросил:

— А есть на чем ехать?

— Нет...

И, закрывая перед моим носом дверь, спокойно произнес:

— Видите ли, сейчас я очень занят, попробуйте к другому.

В великом крике хотел я вылить свой гнев — но почему-то молчал, не находил слов. Искать другого врача я не мог, мать была одна. Вернулся домой. Мать лежала без движения и по суровому лицу сползала одна, единственная слеза. Она молча, движением руки дала знать, чтобы я не приближался.

Я зарыдал, и это был уже не детский плач — это были слезы взрослого человека, первый раз столкнувшегося лицом к лицу с суровой действительностью. И тогда родилась в моем детском сердце великая ненависть.

Только позже узнал, что она называется ненавистью класса.

V.

... Стучат. Стучат через стену арестанты. Прислушиваюсь... С громадным волнением ловлю каждую букву, каждое слово... Что? В России победили большевики, советская власть! Какая радость и как страшно: ведь меня могли расстрелять до этой замечательной вести. Меня бросает в жар, в озноб при одной только мысли об этом. Какая радость!..

— Не шуметь, нельзя петь!

— Дружок, брат, ты знаешь...

— Ничего я не знаю, молчать!

Какая тьма, какая пропасть — не чувствовать это пробуждение человека, этот свет, идущий с севера!..

VI.

Утром позвали к следователю. Он по-вчерашнему ласково обратился ко мне:

— Ну что, думал?

— Да, думал.

— Тогда назови имена...

— Никогда!

Из руки следователя выпала ручка.

— О чем же ты тогда думал, чорт побери?

— Я думал о том, что когда-нибудь здесь будет не тюрьма, а картинная галлерея; что на стенах повесят ваши портреты, по которым наглядно будут изучать настоящих зверей.

Следователь медленно привстал и сильно побледнел от ярости.

— Как ты смеешь...

И прямо в лицо бросил мне огромную чернильницу. Кровь и чернила слились в одно.

— В карцер его! Я сломлю твой непокорный дух.

— Боюсь, что выйдет не так.

—Молчать, безродное племя! Сегодня же ночью будешь расстрелян.

— Что же, пойду на расстрел.

— Молчать! Опусти свои дерзкие глаза.

— Мне нечего опускать глаза, я прекрасно вижу свой путь. Это вам надо закрывать глаза.

VII.

Сегодня в три часа ночи из списка заключенных вычеркнут 901 номер. А все таки жалко умереть.

Да, надо Ольге написать письмо.

„Дорогая Ольга!

Я знаю, ты спешишь сообщить мне, что в России победили наши. И хотя ночью меня расстреляют, но никто не посмеет запретить мне жить вечно в той жизни, которая уже началась.

Я бы хотел видеть тебя, видеть моего сына еще один, последний раз. Нет, это не жалоба, это просто жажда.

Будь тверда. Перед тобой длинный, тернистый путь борьбы — и помни, что я всегда с тобой на этом пути, ведь я же твой друг, родная!

Я не забуду никогда, и это „никогда" будет длиться только восемь часов, одну ночь!

Ты помнишь, летом? Было темно. Из широкого окна видны были огни, мерцающие звездочки, а далеко — как бы заснувшая река и еще черные, страшные тучи, которые стремительно летели куда-то вдаль. Вокруг все молчало! Даже свет и тот потух в комнате... и только ты одна заговорила...

Ты говорила о дружбе, о новом человеке, о будущем, о нашей победе так хорошо, с такою теплотою! И жалко, что было темно — иначе ты бы могла увидеть в моих глазах огонь — ведь мысль о новых взаимоотношениях людей не покидала меня.

И еще ты сказала тогда:

— Может быть, мы не должны были пожениться, имеем ли мы на это право?

И сейчас же сама ответила на собственный вопрос:

— Думаю, что мы имеем на это полное право. Ведь мы люди, а человек всегда должен быть человеком, иначе не осуществим то большое дело, за которое боремся. И дружба на этом пути — самая нужная и драгоценная вещь.

Как ты была права! Да, дружба—это замечательная вещь.

Целую моего сына. Я уверен, что ты его воспитаешь настоящим большевиком. Ребенок — это вроде мрамора. Сделай из этого благородного материала прекраснейшее из прекрасных — человека. Создать человека! Как это замечательно звучит, какая прекрасная задача, друг мой! Ну, живи и будь энергичной.

... Не надо слез. Ты ведь человек нового дня, а новый день не любит слезливых людей.

Давай поцелуемся в последний раз. Так.

Виктор.

... А теперь я отдохну — мне ведь предстоит такой длинный путь, — путь в вечность"...

На этом оборвались записки. Мы сидели молча, потрясенные слышанным. Кто-то из нас нарушил это молчание, обращаясь к Ольге Донаури.

— А о последних часах его жизни вы ничего не знаете?

— Как же, знаю... Мне все рассказал часовой, тот самый, который доставлял ему письма. Так вот, в три часа ночи его вывели на расстрел. Сам следователь пожелал пойти на место казни.

Была прохладная октябрьская ночь. Все шли очень медленно, в каком-то гнетущем состоянии, и только следователь спешил, подгоняя их.

Вдруг на середине дороги Донаури остановился, посмотрел на небо, глубоко вздохнул и шагнул дальше.

Так шли они долго, пока не вышли за город.

Следователь обратился к Донаури в последний раз:

— Может быть, передумал... простим.

— Никогда... Лучше не теряйте времени, стреляйте.

Часовой подошел, чтобы завязать ему глаза. Его поразило спокойствие, с которым покидал жизнь Донаури. Вдруг рука следователя оттолкнула часового в сторону.

— Не надо! Я сам закрою навсегда эти дерзкие глаза.

Вслед за этим раздались выстрелы следователя, направленные в глаза осужденного.

1936 г.

Песня сына.

I.

На балконе дома сидел старик Маджара и заунывным голосом тянул в такт стонущему ачангуру.

Закат вечерний будто веял тишью над землей.

В гранате, пурпуре, игре лучей и красок захлебывалось солнце, уходящее за море. И зеленеющее тело кипариса змеилось длинной тенью в водах моря.

Маджара думал...

Но сиротливы были его мысли, и ниоткуда он ни получал ответа.

Любовь, невысказанная любовь нигде и никогда к сыну его терзала. И только ачангур и песня знали это чувство... И этот сладкозвучный ачангур певал не раз и малому ребенку, заменяя мать.

Но возмужавший сын — это заря, далекая извечно от заката. И старость на закате мучилась непонятным, неразделенным чувством.

Огромные идеи сына — страшили старика, хоть новый ясный смысл он прозревал подчас. Он восхищался новым днем... Но этот новый день разрушал священные законы старого быта.

Так думал старый и печалился.

В пацху вошел он. Обнаженный Нури в движеньях вольных тело закалял, готовясь лечь. Лопатки двигались решительно за мускулами рук, послушные суровой воле. Приковывали глаз литая красота и формы безупречные могучего и бронзового тела.

Старик прирос к порогу у дверей, залюбовался рослым сыном. Почувствовав вдруг взгляд, что сын украдкой бросил на него, старик одернулся упрямо и стыдливо... И нарочито вызывающее сказал:

— Бесстыдством вашим голым развращаете весь мир...

Нури его прекрасно понял.

— Но это не мешает мне, старина, слушать многозвучный ачангур...

Старик обвел бороду рукой. Уперся взглядом в землю.

— А для чего, Нури, мешок походный наготове?

— Готовлюсь я к походу. На утро еду в горы. Там — кулаки и злонамеренные люди отрезали колхозу воду. Для помощи бригаду комсомольскую зовут.

— Как! Среди них ведь мой молочный брат!

— Не брат он больше тебе, а враг.

Не ожидал отец. И не хотел отъезда сына в горы... И этот шаг и снова в этот раз был шаг наперекор законам его мира.

— Не нравится мне это!

— Не горячись напрасно, отец!

II.

Утро зарождалось.

Умытая росою алая заря казалась юной, свежей... Отрепья туч уж подмели дорогу для

шествия великого светила. А серый горизонт яснел и голубел.

Чуть колыхалось заспанное море.

И трепетал зеленым телом горделивый кипарис.

Ни сна, ни места не нашел за ночь Маджара. Противиться уходу сына в горы было бесполезно.

Чтоб заглушить в душе боязнь, тревогу, на помощь он призвал свой ачангур.

Заговорили струны. Отяжелел от муки воздух. И шелковые нити тоскующих, протяжных звуков заплакали без слез...

Перед уходом появился у дверей Нури. Остановился. И слух внимательный свой бросил к пенью ачангура...

— О, нет, отец! Ведь песнь моя сильней твоей!..

Стремительно спустился молодой абхазец по лестнице во двор.

И струны перестали говорить.

Остановился в горле голос.

Два огненных костра зажглись в двух старческих глазах.

Так поражением окончилась попытка.

III.

Слезами обливалась ночь. Сосна высокая на фоне белых камешков вдруг освещалась ослепительно мгновенной молнией, под грохот грома.

Внизу же враждовали волны.

Старик под струны ачангура рыдал и охал... Хотел кричать, как раненый смертельно зверь.

Невысказанный крик терялся в тайниках души.

Он безгранично, безотчетно любил сына. И в говоре безумных пальцев мысль пела лишь о нем. В послушных струнах искал старик опору.

Заговорили струны...

Опять отяжелел от горя влажный воздух. И шелковые нити молящих звуков плакали без слез.

Усиливался дождь.

Забушевало море.

И разъяренный ветер вдруг согнул и разломал высокую сосну.

Упал старик без сил на нары и безнадежно съежился. Обезумел... Остановилась мысль лишь на одном. Ему представился ушедший сын убивающим молочного брата. Дыханье сжалось, дрожащими руками разорвал он воротник акаба *). Слезы полились из глаз.

IV.

Домой с работы возвращался Маджара.

И неспокойны были его мысли. Дорогою крестьянин проезжий говорил:

— А молодцы, ребята!.. В горах колхоз, от засухи чуть было не погибший, ко времени водой досыта напоили. Хоть дело жаркое там было, говорят...

Маджара дальше спрашивать не мог...

День снова уходил. Пурпурные лучи все не хотели расставаться с знойным небом.

Как будто кровью победы заливался горизонт.

Навстречу, у ворот, виляя старику, визжала, выла жалобно собака.

Маджару охватил внезапно жуткий страх. Страх, поразивший болью сердце.

Собака выла во дворе.

А на балконе дома, у дверей, народ толпился...

---

*) Акаба—одежда, надеваемая под черкеску.

Темно в глазах у старика и подкосились ноги.

— О, неужели мы с тобой одни остались, мой верный пес Чалыку!

И свои шесть десятков лет прошел он легче, нежели пятнадцать ступеней к порогу.

Остановился у дверей, опершись о косяк.

Покоился на тахте безжизненный Нури.

И молчаливому величью его тела торжественность особенно пристала. А кудри черные, по-прежнему живые, ластились у застывшего лица. Улыбка, чуть заметная, вплелась в полуоткры. тый рот, точно говорила о радости победы.

Горячая отцовская слеза скатилась из застывших глаз Маджары.

Он к сыну подошел.

Отбросил одеяло.

На груди Нури зияла маленькая рана, всего величиною с птичий глаз.

Он победил в борьбе. Но разве без потерь и жертв когда нибудь была победа торжеством?

Обрушилось, как камень, горе. И раздавило старика.

Стоял. Молчал.

Искать вдруг взглядом стал свой ачангур... Снял со стены. Заботливыми пальцами обвел, едва лаская струны. Задумался старый...

— Сыграй, отец, „усыпальную!“ — была постоянная просьба его единственного сына.

— Слишком многое говорит эта песня, жесток ее язык, — добавлял Нури.

Вот он лежит так близко и никогда не повторит эти слова, никогда не услышит любимую песню!

И это дело рук его молочного брата — богатого, знатного когда-то князя!

И вспомнил Маджара тяжелое детство свое,— бедную, родную пацху...

... Сегодня, чтобы вернуть былую славу, молочный брат не пожалел единственного, любимого сына Маджары. Перед гибелью не забыл он свое жало. Значит, все ложь! Священные законы старого быта были выдуманы только для бедных.

Поднял голову: вокруг железной когортой сомкнулись товарищи Нури.

Потом на сына посмотрел...

Свой ачангур он об пол уронил... В ответ лишь струны зазвучали тихо, чтоб замолчать навек.

И вздрогнул старый.

А мысли твердили непрестанно последние слова единственного сына:

— О, нет, отец! Ведь песнь моя — сильней твоей!..

1933 г.

Последняя пуля.

Сияющая Лина читала рабочей милиции телеграмму московских ткачих. Сегодня она побывала на многих участках, зачитывала телеграмму работницам, ребятам, старикам. Все ее слушали с восторгом.

Это была весть о надежде, присланная из великой страны, а надежда всегда похожа на боевой призыв: она помогает борцу взойти по ступеням победы.

— У наших детей будет хлеб! — с радостными слезами говорили матери.

— Мы еще яростнее будем бороться! — кричали девушки-милиционеры.

Лина почувствовала усталость — она без отдыха работала трое суток — и уселась у стены. Незаметно задремала и очнулась только тогда, когда кто-то поцеловал ее в глаза. Это был Хозе, ее друг. Они спешно должны были выехать на боевой участок с серьезным заданием.

— Ну, что, поехали?

— Да. Влезай в кабинку.

Машина двинулась. Вечер был ясен, спокоен, как будто ни одной капли крови не пролилось на испанской земле. Вдали виднелся дым: догорали последние доски разрушенных домов, откуда-то доносились взрывы снарядов. Где-то пели...

То была песня новая, рожденная в бою, — песня ярости и скорби.

Хозе гнал машину.

Друзья задумались.

— Как надоела эта проклятая война: разгром, смерть, кровь...

В эту минуту им хотелось думать о счастливой, радостной, совместной жизни. О цветах, о тишине, о звездах на небе, о словах песни, и чем больше они думали об этом, тем большей яростью наполнялись сердца, тем больше они ненавидели врага.

Оба немножко стыдились своих мыслей и не смотрели друг другу в глаза. Но неожиданно для себя они запели, и песня заглушила жалобу двух сердец.

Увлекшись песней, на перекрестке дорог Хозе незаметно для себя завернул машину налево.

Ехали довольно долго.

... Вдруг раздался выстрел. Другой, третий. Вслед за выстрелом послышались крики: „Стой!" Шум, опять выстрел.

— Ах, чорт, мы не туда завернули, попали к фашистам!

И друзья как бы преобразились и наполнились решимостью.

— Гони машину назад, Хозе, а я буду отстреливаться,

— Возьми и мой револьвер.. Только осторожно, спрячь голову... Лина!

Хозе быстро повернул машину и помчался. Лина начала обстреливать уже приближавшиеся машины противника. Ни одна пуля ее не пропадала даром.

— Собаки! Окружили нас. Лина, оставь две пули на всякий случай...

— Только одна-единственная пуля осталась..

— Ах! — Хозе завернул в лес и остановился.

— Ехать больше некуда, мы окружены, нужно решаться на что нибудь.

— Они растерзают нас... Последняя пуля... Дать тебе?

И как будто на секунду кровь остановилась у нее.

— Нет... Не могу смириться с мыслью, что они будут издеваться над тобой.

— Тогда... давай бросим жребий!

Жребий выпал Хозе, и Лина протянула ему револьвер.

Он колебался.

— Ну, Хозе, дорогой! Прощай... Ну! Будь же до конца комсомольцем... Стреляй, догоняют!...

Но Хозе повернулся и последнюю пулю послал в сердце врага. Один из догонявших упал... Потом друзья обнялись без слез, без слов, как будто расставались не надолго...

Через четыре часа правительственные войска заняли деревню, где пали жертвами Лина и Хозе. Нашли только труп девушки и повезли его домой.

Тело преданной комсомолки любовно обступили друзья и товарищи. Молча менялся почетный караул.

Вдруг толпа расступилась, и послышался тихий, спокойный голос:

— Где моя дочь? Покажите мне ее!

Это была маленькая, седая, морщинистая старушка с решительными складками у рта. Лицо ее выражало великое горе, но она старалась скрыть это и не плакала.

Минуту молча смотрела она на труп дочери, потом обратилась к окружающим:

— Братья, сестры! Скажите, неужели это моя дочь! Они убили ее, изранили, изуродовали. Этим зверям недостаточно было ее смерти... Лина, моя бесценная девочка!..

— Плачь, плачь, несчастная, тебе будет легче...

— Кто говорит, чтобы я плакала? Нет, я не буду плакать, пока хоть один из наших врагов будет жить. Отныне оружие станет моими глазами, а пули заменят мне слезы... А это пусть проклятием падет на их головы!

Старуха с яростью сорвала что-то с груди и бросила в толпу. Это был маленький, серебряный крестик, весь почерневший от пота...

... А ночь была тиха, как будто ни одной капли крови не пролилось на испанской земле.

1936 г.

Рассказ о солнце

I.

Вода в графине переливалась всеми цветами радуги. Полы и стены большого больничного зала блистали под яркими лучами солнца.

Сестры в белых халатах, с закрытыми марлей лицами, суетились вокруг профессора-окулиста, глаза которого выражали еле заметную тревогу. Ведь он пятый раз применял на практике свой знаменитый метод, о котором так много говорили в прессе.

На операционном столе лежал старик, который уже двадцать лет не видел света: бархатистых закатов, хрустальных восходов, серебристых лунных вечеров и игры лазурных волн синего моря... Для него навсегда поблекли краски мира.

Белое, красивое здание больницы стояло на горе. Из окон операционной сквозь ветви веерообразных хамеропсов и стройных кипарисов раскрывался вид на море. Белый теплоход величественно подплывал к большой пристани. Старик не видел этой картины, но он слышал звуки музыки, доносящейся с теплохода: это были боевые и солнечные песни о героях гражданской войны, о радостях новой жизни... Зураб вспомнил песни своей юности, — они были все грустные, печальные... Сколько раз он бывало напевал такие песни на рассвете или в холодную зимнюю ночь, возвращаясь из города на дедовской дряхлой арбе! Тогда он еще плохо представлял себе, какое это счастье быть молодым и видеть.

Зураб тяжело вздохнул. Он знал, что никогда больше не увидит дневного света, — он в этом был уверен. Ведь подобные чудеса только в сказках возможны! Но все же решился на операцию.

— А может быть, свершится чудо!

II.

... Это было в 1915 году. Его вместе с другими крестьянами-односельчанами призвали на фронт.

— Очень нужна бедняку война! — повторяла сквозь слезы старуха-мать и царапала от горя лицо.

Зураб был единственный кормилец семьи, — но и это не помогло. После медицинского осмотра ему дали маленькую бумажку, где обыкновенными буквами старательно было выведено роковое слово „Годен".

Война! Страшное чудовищное слово. Даже матери не решались пугать этим словом своих шаловливых детей.

„Где-то там, в холодной стране, царь не поладил с кем-то... Но при чем тут я?..." — Так думал Зураб и прощался со своей семьей. Слезы комом подступали к горлу. Но он сдерживал себя, — ведь плакать не подобает мужчине!

В конце марта, вместе с другими Зураба угнали на людскую бойню. И долго-долго слышал он еще причитания матери, плач жены и крики детей...

На западном фронте Зураб убедился, что таких, как он миллионы, что они говорят на разных языках, но участь их одна... Постепенно, с помощью товарищей он начал понимать, для чего и для кого ведется война.

Раненый, через два года, в одной атаке, Зураб наткнулся на колючую проволоку и навсегда потерял самое дорогое. Он лишился зрения. Военные врачи немножко повозились с ним и вскоре отказались от лечения. Ему разрешили вернуться домой, — ведь больше в нем не нуждались.

III.

Зураб привыкал к своей удручающей участи — слепоте. Он желал одного, — вернуться домой.

И вот в девятнадцатом году, сквозь огонь гражданской войны вернулся он в свое родное село.

... Он шел по грязной проселочной дороге, по знакомым тропам и переулкам. Жена встретила его причитаниями, ведь Зураба считали давно погибшим!.. А многие со вздохом поговаривали, что лучше было бы погибнуть, чем остаться навсегда слепым.

Зураб узнавал от жены все новости, потрясающие события. Их старую плетеную пацху подожгли ночью меньшевики, из-за старшего сына, который партизанил в лесу. С трудом спасли женщин и детей.

Голодных и бездомных, их приютили соседи... А самый младший сын, золотоволосый, синеглазый мальчик, общий любимец семьи, Джого — бесследно исчез. Он, оказывается, возвращался из города домой, и ему по дороге сообщили о поджоге пацхи, о гибели родных. Тогда десятилетний мальчик, испугавшись смертельно, бежал. И больше его никто не видел...

Прошли года. С каждым днем менялась жизнь. Зураб чувствовал это. Окружающие люди не говорили, как прежде, шопотом, приниженным, напуганным тоном. В их голосе чувствовалась смелость, отвага, дерзость... Он слышал песни, смех, веселье или разговоры о важных государственных делах, о хозяйстве. И он сам жил не в плетеной, чужой пацхе, а в прекрасном, большом, просторном доме. Старший сын Зураба, любимец всего села, был председателем колхоза. Его недавно наградили орденом.

Всему этому безмерно радовался Зураб, но в то же время очень страдал, от того, что не мог работать, не мог приносить пользы... от того, что не видел. Так проходили недели, месяцы, годы. Но в один прекрасный день до села дошли

слухи о знаменитом профессоре, который по делам приехал из центра.

... И вот Зураб лежал теперь на операционном столе.

IV.

— Ну, старина, скоро увидишь солнце!

Зураб сразу узнал голос профессора и в знак благодарности погладил его руку.

— Спасибо, сын мой... спасибо! Неужели когда-нибудь увижу свет?

— Неверие — скверная болезнь, старина! Вера — основа жизни.—И после короткой паузы спросил — А у тебя дети есть?

— Есть, да еще какие!.. А вот один пропал, еще маленьким...

— Пропал?!. А как его звали?

— Джого.

— Джого?.. Джого!..

— Для вашего уха должно быть непривычно это имя.

— Да, странное имя!.. Профессор хотел еще что-то спросить, но сестра уже положила больному на лицо маску с наркозом.

После благополучного окончания операции, профессор еще раз потребовал историю болезни старика. Сестра никогда не видала его в таком нервном состоянии и таким бледным.

Через две недели Зураб в первый раз за двадцать лет увидел солнце! Никогда не испытывал он подобной радости, никогда он не был так возбужден... Краски мира опять ожили для него. Он смотрел на небо, на море и не верил. „Неужели это наяву?“ — ежеминутно повторял он, глядя на солнце. Он пожелал видеть профессора, который вернул ему зрение, жизнь, но профессор оказался на конгрессе в Москве.

... Всю ночь не засыпал Зураб, — боялся, как бы вторично не потерять зрения.

Через две недели Зураб вернулся домой.

Он не верил своим глазам. Скорей всего это был светленький, маленький городок, чем темное, грязное село, каким оно выглядело двадцать лет назад.

— Наше село! Как оно изменилось за эти годы!!

А сын, разжигая восторг старика, иногда незаметно вставлял:

— Это белое двухэтажное здание—наша десятилетка. А вот там — электростанция. А это на бугорке — амбулатория. Вот и клуб. Видишь большие ореховые деревья? Помнишь, как мы сажали их в двадцать третьем году?

Старик был ошеломлен, несмотря на то, что он обо всем этом знал очень хорошо. Ни одной пацхи не было вокруг — всюду новые, большие дома. Люди были здоровые, веселые. А вот и их дом. Большой, светлый. Сколько радости, восторга, счастья!..

Вскоре после этого, в одно солнечное утро у ворот дома Зураба остановился новенький блестящий „М-1". Из машины вышел хорошо одетый мужчина лет около тридцати пяти..

Он подошел к старикам совершенно бледный от волнения и сказал:

— Я ваш сын... Джого!..

Это было настолько неожиданно, что все растерялись и только через две-три секунды раздались крики радости. Старик дрожащими руками обнял сына:

— Сын мой, Джого! Мой золотой мальчик!..

Отец погладил красивую, мужественную руку сына и замер на месте от удивления: это была рука того профессора, который вернул ему зрение.

Октябрь 1937 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
1.	Участь янтаря	3
2.	Макона	21
3.	Арзаабе—эскиз	28
4.	Метехи—этюд	41
5.	Песня сына	50
6.	Последняя пуля	56
7.	Рассказ о солнце	60

Ответственный редактор М. ДЕЛБА.
Техредактор М. ПИЩИК.
Корректор ЧЕРЕМНЫХ.

Сдано в набор 4/IV, подписано к печати 15/V 1938 года.
Об'ем 4 листа, вместим. 33072 зн., формат бумаги 73×94 см.

Заказ № 1881. Тираж 3100. Уполн. Главлита № 228.

-50k

Цена 1 руб. 30 к.

